**Т. ГЕВОРКЯН**

**"Пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило!"**



**Опубликовано в журнале:**[**«Вопросы литературы» 2007, №5**](http://magazines.russ.ru/voplit/2007/5/)

**1. МАТЬ И ДОЧЬ**

В книге “Марина Цветаева. Семья: история в письмах”, в первой ее части, названной “Действующие лица” и исполненной в приеме семейного альбома, где фотографии сопровождаются надписями, есть один разворот, который вот уже семь лет не дает мне покоя. На левой стороне разворота фотография Сергея Эфрона 1918 года, то есть времен его служения Добровольчеству. На правой стороне фотография 1919 года, на ней две дочери Марины Цветаевой и Сергея Эфрона — Аля (Ариадна) и Ирина. На левой стороне, под фотографией, на которой Сергей Яковлевич снят в военной форме, читаем слова Бориса Савинкова: “Если бы три года русские люди не сражались против большевиков <...> мы, русские, были бы вынуждены признать, что у нас, русских, нет чести и что Родина действительно не более как предрассудок. И если честь спасена и если идея Родины — идея России — не умерла до сих пор, то этим мы обязаны безвестным героям, положившим жизнь свою у Пскова, у Омска, у Новочеркасска, под Орлом, под Казанью, на Перекопе — во всей Земле Русской”1 . На правой стороне, под фотографией двух по-сиротски одетых девочек, бедствовавших тогда вместе с матерью в пореволюционной Москве, читаем отрывок из письма Магды Нахман к Юлии Оболенской, датированнного мартом 1920 года: “…Умерла в приюте Сережина дочь — Ирина — слышала ты? Михаил Соломонович под арестом — это на днях Вера писала. Лиля хотела взять Ирину сюда и теперь винит себя в ее смерти. Ужасно жалко ребенка — за два года земной жизни ничего кроме голода, холода и побоев…” (НСИП, 55).

Вольно или невольно, но нам предлагается такое прочтение этой трагической страницы в истории семьи: Сергей Яковлевич — герой, один из тех, чьим подвигом спасена честь России, сохранена сама идея Родины. В его отсутствие у дочери Ирины если и были родные, то это сестра Сергея Лиля (Елизавета Яковлевна), которая оплакивает девочку и безвинно корит себя в ее смерти, другая его сестра, Вера, сообщившая печальную весть, ее будущий муж Михаил Соломонович, известие об аресте которого придает и его образу отблески не то героики, не то страдальчества, да еще две художницы (М. Нахман и Ю. Оболенская), сочувственно обсуждающие на правах давнего коктебельского приятельства смерть “Сережиной дочери” (известно, впрочем, в том числе и автору этого письма и этой формулировки, что в силу своего отсутствия отец Ирину почти не знал), у которой то ли вовсе нет матери (ибо “умерла в приюте”), то ли мать, демонстративно не названная Марина Цветаева, не достойна ничего, кроме осуждения (“побои”). Словом, на стороне одного, *отсутствовавшего*, родителя (достаточно многолюдной, заметим, стороне) — восхищение и сочувствие, на другой стороне, где Марина Цветаева совершенно одна с двумя малолетними детьми, жест-кое уничижительное осуждение.

Помимо очевидной, согласимся, несправедливости стоит отметить еще и упрощенность такого прочтения, и это впечатление только усилится, если взглянуть на предыдущий разворот, где помещены фотографии 1915 года: “С.Я. Эфрон — брат милосердия” и “В.А. Жуковская и В.Я. Эфрон — сестры милосердия”. И станет окончательно сложившимся при взгляде на следующий разворот (там же, 56–57), где помещены фотографии Елизаветы Эфрон (поседевшая голова, опущенные глаза, скорбно-сосредоточенное лицо) и Веры Эфрон, снятой в конце 20-х годов в кругу семьи, взаимной любовью, как щитом, охраненной от превратностей времени, что следует из сопровождающей фотографию надписи. Рядом с ней муж, Михаил Соломонович (в одном из писем, помещенных в книге, тоже осуждающий Цветаеву, называющий ее материнство “противоестественным фактом”, а заботу Е. Эфрон об Ирине “летним самопожертвованием”), и сын Константин.

Как могло, однако, получиться, что ни на одной из этих страниц нет Марины Цветаевой — ни ее лица, ни ее слова? Во всяком случае, причиной тому не отсутствие ее фотографий этого периода, ибо есть портрет работы Н. Вышеславцева2  — резкий, выразительный портрет, уловивший и трагедию Цветаевой, и глубину ее переживания. Трудно понять и то, почему о смерти дочери в этом семейном альбоме говорит не сама она, а Магда Нахман. Ведь еще в феврале 1920 года, по свежему следу потери, написала она два письма, выдержки из которых куда больше подошли бы к разделу “Действующие лица” и куда естественнее корреспондировали бы со словами Савинкова о людях, спасших честь России. Ведь именно героем, рыцарем видела Цветаева своего мужа. И так боялась нанести ему удар с тыла, причинить ему боль утраты, готовая всю боль взять на себя.

Мне думается, что на том развороте, под фотографией двух девочек, самое место было цветаевскому: “У меня большое горе: умерла в приюте Ирина — 3-го февраля, четыре дня назад. И в этом виновата я. Я так была занята Алиной болезнью (малярия — возвращающиеся приступы) — и так боялась ехать в приют (боялась того, что сейчас случилось), что понадеялась на судьбу”3 . И еще: “…самое страшное: мне начинает казаться, что Сереже я — без Ирины — вовсе не нужна, что лучше было бы, чтобы *я* умерла, — достойнее! — Мне стыдно, что я жива. — Как я ему скажу?” (VI, 150).

Однако эти два письма, одно из которых адресовано В. Звягинцевой, другое — ей же и А. Ерофееву, не только не прокомментировали последнюю фотографию Ирины — они и вовсе не включены в книгу. И тот, кто только по книге стал бы восстанавливать историю семьи Цветаевой, остался бы при убеждении, что своей вины в смерти дочери Цветаева не видела никакой, что свалила все на “*СТРАШНУЮ* зиму” 1919–1920 годов и на сестер мужа, которые в критический момент не протянули ей руку помощи, что, кроме неприязни к ним, ни тогда, ни в более поздние годы ничто не сопутствовало ее воспоминаниям о потерянном ребенке. Впрочем, такое за-блуждение (весьма, к сожалению, распространенное) отчасти было бы на совести нерадивого этого читателя, ибо есть, разумеется, другие источники, и они могут до определенной степени прояснить картину. Их, правда, очень непросто свести воедино, понять, а порой и распознать в разновременных, в том числе и поздних записях, письмах и произведениях Марины Цветаевой. Вероятно поэтому работы, где тема умершей в годы революционного катаклизма дочери была бы прослежена с начала и до конца — до последних дней, до *конца* Марины Цветаевой, до сих пор, насколько знаю, нету.

Между тем убеждена: связь между двумя роковыми решениями — отправкой двух дочерей в Кунцевский приют, спровоцировавшей голодную смерть Ирины, и самоубийством — не только существует, она, на мой взгляд, настолько очевидна, что понять с достаточной долей приближения последнее решение без учета первого практически (и психологически!) невозможно. И для того, чтобы эту связь, окончательно вы-свеченную изданными недавно “Дневниками” Георгия Эфрона, показать, мне придется — с ясным осознанием чрезвычайной деликатности затрагиваемой темы и со столь же ясным пониманием того, что вникнуть в нее однажды просто необходимо, — обратиться к тяжелейшим страницам семейной истории Марины Цветаевой. В большинстве своем это будут страницы ею самой написанные, что, полагаю, вполне оправданно и естественно: ведь пытаемся мы понять *ее* душу, *ее* путь и *ее* конец. И имеем дело с поэтом, который не только не скрывал, но с некоторым даже исступлением обнажал (и отнюдь не только в стихах!) свой внутренний мир, свой человеческий склад. Об осознанности и, по цветаевскому убеждению, насущности такой распахнутости свидетельствует запись 1933 года: “Как в других и из других — инстинкты, так из меня — душевное. Инстинкты души. Бог мне дал такое самосознание, самопризнание только потому, что знал, что меня (КАК меня) не узнают и не признают” (НЗК, II, 412).

А ей было чрезвычайно важно, чтоб *узнали*, узнали именно ее, всю, до самого донышка души, плохую или хорошую, но именно такую, какой она была на самом деле. Об этом Цветаева писала часто и настойчиво. Приведу только одну запись, сделанную в мае 1920 года, всего через три месяца после смерти Ирины: “Найду ли я когда-нибудь человека, который настолько полюбит меня, что даст мне цианистого кали, и настолько узнает меня, что поймет, будет убежден, что я никогда не пущу его в ход *раньше сроку*. — И потому, дав, будет спать спокойно” (НЗК, II, 151). Несмотря на некоторую экзальтированность этой записи, она по сути верна, подтверждением — все последующие годы и смерть Цветаевой.

Мысль о самоубийстве часто приходила к ней в эти месяцы (она говорила об этом и в письмах), но рядом была Аля, жила еще надежда на встречу с мужем, и она знала, что срок еще не настал. У нее вообще было очень обострено чувство *своего срока*, в который включалось очень и очень многое. Напрмер, понимание жизни, ее внутренней энергетики и закономерности, о чем она писала В. Буниной в ноябре 1934 года, в момент глубокого кризиса в своей семье: “Все они (муж, дочь, сын. — *Т.Г.*) хотят *жить*: действовать, *общаться*, “строить жизнь” — хотя бы собственную (точно это — кубики! точно тбк — строится! Жизнь должна возникнуть изнутри — fatalement4  — т. е. быть деревом, а не домом. И как я в этом — и в этом — одинока!)” (VII, 280). Так остро ощущая *органику* бытия с его развитием и отцветанием, подрубить еще возрастающее дерево жизни, нарушить предначертанность, недовыполнить свой на этой земле долг — на это она никогда не решилась бы. И хотя длинное и трудное это письмо, в котором, кстати, упомянута и смерть Ирины, что в те годы в ее писаниях было редкостью, Цветаева закончила словами “я *достоверно* зажилась”, в нем нет ни намека на самоубийство как на выход из сложившегося положения, напротив — в нем есть мысль о неосуществимом, правда, но желанном новом повороте жизни: “Были бы деньги <...> уехала бы куда-нибудь с Муром (так домашние называли Георгия. — *Т.Г.*)” (VII, 281).

В 1920 году восьмилетняя Аля, в 1934 году девятилетний Мур — материнская и человеческая ответственность (очень сильная в Цветаевой!) снова и снова побеждала мрачные ее побуждения (а она очень рано почувствовала в себе самоубийственное начало и почти достоверно знала, что уйдет из жизни по своей воле) и до времени отодвигала ее *срок*. Этот срок соотносился, разумеется, и с творчеством, с императивом творчества, с ответственностью за дар, но, не забывая об этом ни на минуту хотя бы уже потому, что Поэтом, мыслителем в ней было напитано и определено практически все остальное, мы в данном случае будем последовательно выделять материнское и человеческое. И не погрешим при этом против Цветаевой, которая, осмысливая себя, вникая в свою природу, шла временами тем же путем. Так, 10 марта 1925 года, вскоре после рождения сына, она записала: “Если бы мне сейчас пришлось умереть, я бы дико жалела мальчика, которого люблю какою-то тоскливою, умиленною, благодарною любовью. Алю бы я жалела за другое и по-другому. Больше всего жалела бы детей, значит — *в человеческом* *— больше всего — мать*”5  (выделено мной. — *Т.Г.*).

А как же Ирина? С Ириной был по трем линиям сразу случай особый. И я не возьмусь сказать о какой-нибудь из них “во-первых”, ибо очень уж нерасторжимо они перепле-тены.

Просто начну с внешне-объективного фактора: девочка родилась весной 1917 года, и на ее младенчество пришлась революция, полное крушение привычного быта, уход отца в Добровольческую армию, неудавшаяся попытка матери вывезти всю семью в Крым, а в результате — Москва, голодная, холодная послереволюционная Москва. Цветаевой впервые в жизни пришлось думать о заработке, и она в 1918-м пошла на службу, где продержалась пять с половиной месяцев, а потом, как писала она сестре Анастасии уже в конце 1920 года, “ушла, *не смогла*. — Лучше повеситься” (VI, 190). Осенью 1919 года, когда стало особенно тяжело, Цветаеву уговорили отправить детей в подмосковный приют, пообещав хорошее питание — вплоть до почти мифического в те поры шоколада. На разлуку с дочерьми, особенно с Алей, шла она очень тяжело, но настолько была убеждена, что отныне они не будут испытывать голода, что, отправляясь на первое с ними свидание и уже зная о болезни Али, по дороге на вокзал забежала “к Б[альмон]там отдать им рисовую сладкую кашу (усиленное детское питание на Пречистенке, карточки остались после детей)”, ибо “в горло не идет, а в приюте дети закормлены” (НЗК, II, 58). А доехав до приюта, обнаружила, что там царит самый настоящий *голод*, и “со смертью в сердце” ушла переночевать к знакомой, чтоб на следующий день забрать домой горящую в жару Алю. А Ирину еще на какое-то время оставила в приюте. Ибо обеих — *одна* — не выходила бы точно.

Это было в самом конце ноября. Шли недели, а Аля все не поправлялась (проболела до конца февраля). Жизнь ее висела на волоске, и Цветаева все откладывала поездку за Ириной. А потом случайно, стороной, узнала, что девочка умерла в приюте. Можно было еще успеть к похоронам, но Цветаева не нашла в себе сил на это, а позже записала: “Чудовищно? — Да, со стороны. Но Бог, видящий мое сердце, знает, что я не
от равнодушия не поехала тогда в приют проститься с ней, а от того, что *НЕ МОГЛА*. (К живой не приехала...)” (НЗК,
II, 85).

Само собой, неотвратимо, получилось так, что ей пришлось выбрать одну из дочерей. И не было рядом с ней никого из родных, никого из тех, кто не в порядке “самопожертвования”, не в порядке эпизодического порыва, а из естественого повседневного участия в ее жизни мог бы разделить с ней заботу о детях. Об этом в ноябре 1919-го — себе, в книжку: “[Ни] одной бабушки, ни одного дедушки, — только двое маленьких детей!” (там же, II, 33). Об этом же дважды в февральских письмах 1920 года, сразу после смерти Ирины: “[Мы] с Алей совсем одни на свете. Нет таких в Москве! С другими детьми сидят, не отходя, а я — у Али 40,7 — должна оставлять ее совсем одну, идти долой за дровами <...> Никто мне не помогает жить, у меня нет ни отца, ни матери, ни бабушек, ни дедушек, ни друзей. Я — вопиюще одна, потому — на все вправе. — И — на преступление!” (VI, 152); в другом письме: “И — наконец — я была так покинута! У всех есть кто-то: муж, отец, брат — у меня была только Аля, и Аля была больна, и я вся ушла в ее болезнь — и вот Бог наказал” (VI, 153–154). Заметим, Цветаева никого не обвиняет и если и пытается оправдать себя, *виноватую* (именно здесь, во втором из процитированных писем, было: “Умерла в приюте Ирина <...> И в этом виновата я”), то круглым своим сиротством — *действительным* сиротством в *действительно* разрушительные времена.

Это был первый — в связи с Ириной — цветаевский суд над собой: жестоко ошиблась, не смогла спасти обеих, не успела забрать из приюта вторую дочь, словом — младшую *не уберегла*. Естественная материнская реакция самоосуждения. Однако давайте зададимся вопросом: кто, кроме нее самой, имел право осуждать ее — в такое время и в таких обстоятельствах? Кто из ее близкого окружения прожил два с половиной года так, как жила она? Кто вправе требовать от нее большего, чем смогла она? Кто был меньше нее, Поэта в период крепнущего дара, приспособлен к реалиям *такой* жизни? О том, *какой* жизнью она жила, рассказывают ее “Записные книжки” (не только они, но они в первую очередь), и желающий узнать об этом доподлинно найдет в них почти протокольное повествование о бедственной повседневности, которая причудливо соединяется с романтикой молодости, таланта и неукротимого жизнелюбия. Отсылаю к первоисточнику за неимением возможности столь обширной цитации. Отсылаю еще и потому, что только прочитав все подряд, поразившись обнаженной, зачастую нелицеприятной правде о самом сокровенном, о том, что мало-мальски осмотрительная женщина никогда не доверит бумаге и тем более не сохранит, можно проникнуться доверием к каждому слову Цветаевой, а потом уже свободно решать, заслуживает ли она *стороннего* осуждения или достойна сочувствия и жалости.

Сама она остро нуждалась в жалости, а встречала все больше осуждение — явное или подспудное: “С людьми мне сейчас плохо, — писала Цветаева Звягинцевой, — никто меня не любит, никто — просто — в упор — не жалеет, чувствую всё, что обо мне думают, это тяжело. Да ни с кем и не вижусь” (VI, 150). Как знать, может, не будь в этот страшный для Цветаевой момент осуждающих взглядов и слов, подобных тем, которые нашлись у М. Нахман, тем, что написала Ю. Оболенская ей в ответ (“Я понимаю огорчение Лили по поводу Ирины, но ведь спасти от смерти еще не значит облагодетельствовать: к чему жить было этому несчастному ребенку? Ведь навсегда ее Лиле бы не отдали. Лиля затратила бы последние силы только на отсрочку ее страданий. Нет: так лучше” — там же, 156), тем, какие, следовательно, витали в воздухе, произносились и думались, в частности, в кругу сестер Эфрон, — не возникло бы у Цветаевой потребности в самозащите и не бросила бы она в свою очередь обвинение сестрам мужа? Не потому не бросила бы, что ей совсем не в чем было их упрекнуть, а потому, что готова была, по всей видимости, понимать: при этой степени родства (не отец и не мать, не брат и не муж, не бабушка и не дедушка) она и не вправе была перекладывать на них ни свои трудности, ни расходы по содержанию детей6 , ни ответственность за свою потерю — разве только если их *добрая* воля.

Во всяком случае, в цитированном уже письме к В. Звягинцевой и А. Ерофееву, которое начато было 7-го, а закончено 20 февраля (достаточный срок для того, чтобы — при желании — попытаться найти себе оправдание), нет ни намека на упрек Вере Яковлевне, находившейся тогда в Москве, болевшей и в силу этого не забравшей Ирину, напротив, она упомянута вполне дружелюбно, хоть и попутно: “Никто не знает, — только одна из здешних барышень, Иринина крестная, подруга Веры Эфрон. Я ей сказала, чтобы она как-нибудь удержала Веру от поездки за Ириной — здесь все собиралась (так в книге! — *Т.Г.*), и я уже сговорилась с какой-то женщиной, чтобы привезти Ирину — и как раз в воскресенье” (VI, 154).

Другая линия — это психофизические особенности самой Ирины. Девочка развивалась медленно, оставляла впечатление нездорового ребенка. Возможно, она просто трудно входила в жизнь: есть дети, которым нужно больше времени и больше усилий (своих и родительских), чтобы справиться с задачей *вживания*. Возможно, ей не дано было справиться с этим и вовсе. Совсем не исключено, что сказывалось недостаточное питание и ужасающие условия, в которых она, совсем еще крошечная, оказалась с матерью и старшей сестрой. Сама Цветаева не могла с уверенностью сказать, что это было, и в 1921 году писала мужу, с которым рассталась больше трех лет назад и о котором не знала даже, жив ли:

“…чтобы Вы не слышали горестной вести из равн[одушных] уст, — Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина <...>

Не для В[ашего] и не для св[оего] утешения — а как простую правду скажу: И[рина] была очень странным, а м[ожет] б[ыть] вовсе безнадеж[ным] ребенком, — все время качалась, почти не говорила, — м[ожет] б[ыть] рахит, может быть — вырождение, — не знаю.

Конечно, не будь Революции —

Но — не будь Революции —

Не принимайте моего отношения за бессердечие. Это — просто — возможность жить. Я одеревенела, стараюсь одеревенеть. Но — самое ужасное — сны. Когда я вижу ее во сне — кудр[явую] голову и обмызганное длинное платье — о, тогда, Сереженька, — нет утешения, кроме смерти” (НСИП, 283).

В 1923 году Елизавета Эфрон совсем иначе описывает Ирину в письме к брату: “Это была умная, кроткая, нежная девочка. Привезла я ее совсем больной, слабой (имеется в виду лето 1918 года, которое девочка провела с ней. — *Т.Г.*), она все время спала, не могла стоять на ногах. За три месяца она стала неузнаваемой, говорила, бегала. Тиха она была не-обыкновенно…” (НСИП, 511).

О том, что в хороших условиях Ирина преображалась, свидетельствует и такая запись Цветаевой, сделанная уже после смерти дочери: “Иногда — на секундочку — лицо Ирины: не то жалкое, не человеческое, последних времен, а круглое, загорелое с яркими темными глазами и улыбкой — после лета” (НЗК, II, 86). Лето 1919 года Ирина вместе с няней провела в деревне. Об этом лете или о предыдущем говорит Цветаева, сказать трудно, но говорит она все же не о бегающей и говоря-щей девочке, а только о похорошевшей, окрепшей физически.

Так или иначе — и в этом третья особенность Ирининого случая, — Цветаева не прониклась к ней безоговорочной, нерассуждающей материнской любовью. И со свойственной ей прямотой и даже жесткостью в сведении счетов со своими чувствами, своей совестью (то, что И. Бродский заметил в ней как определяющую черту и назвал “кальвинизмом”) не раз говорила об этом в “Записных книжках”.

Впрочем, и тут все было неоднозначно, любовь к младшей дочери могла еще проснуться в ней, ибо где-то в глубине души она теплилась и пробивалась временами наружу. Как, например, в июле 1919 года, когда девочка была в деревне: “У меня начинает просыпаться страстная (с тоской и мучением) любовь к Ирине, о которой я 1 1/2 месяца ничего не знаю и почти не думала. Я об этом никому не говорю” (там же, I, 366). И еще раз — уже после рокового февраля: “Были у меня к ней редкие — нестерпимые какие-то! — вспышки нежности, но это длилось час, а жизнь длится дни — месяцы, — словом: дело темное, не знаю” (там же, II, 87). Кто-нибудь другой на месте Цветаевой нашел бы себе оправдание в том, что “дни” и “месяцы”, складывавшиеся в годы Ирининой жизни, были *объективно* чудовищными, нечеловеческими. Но она себе такой поблажки не делала. Промолчав около четырех месяцев (после записи о том, как забирала Алю из приюта, в книжках ее пропущено 25 страниц, и вернулась она к ним только во второй половине марта), Цветаева незадолго до трехлетия Ирины и спустя полтора месяца после ее смерти начинает писать о ней, препарируя свое к ней отношение, казня себя, терзая неразрешимой загадкой ее прихода в мир и ее — такого страшного — ухода.

“Гляжу иногда на Иринину карточку. Круглое (тогда!) личико в золотых кудрях, огромный мудрый лоб, глубокие — а м[ожет] б[ыть] пустые — темные глаза — des yeux perdus7  <...> Ирина! — Я теперь мало думаю о ней, я никогда не любила ее в настоящем, всегда *в мечте* — любила я ее, когда приезжала к Лиле и видела ее толстой и здоровой, любила ее этой осенью, когда Надя (няня) привезла ее из деревни <...> Но острота новизны проходила, любовь остывала, меня раздражала ее тупость, (голова точно пробкой заткнута!) ее грязь, ее жадность, я как-то не верила, что она вырастет — хотя совсем не думала о ее смерти — просто, это было существо *без будущего*. — Может быть — с гениальным будущим?

Ирина никогда не была для меня реальностью, я ее не знала, не понимала. А теперь вспоминаю ее стыдливую — смущенную такую — редкую такую! — улыбку <…>

И как она меня гладила по голове: “Убу, убу, убу” (милая) — и как — когда я ее брала на колени (раз десять за всю ее жизнь!) — она смеялась.

<...> Ирина! — Как она умерла? Что чувствовала? Качалась ли? Что видела в памяти? <...> Понимала ли что-нибудь? Что — последним — сказала? И от чего умерла?

Никогда не узнаю.

Иринина смерть тем ужасна, что ее так легко могло не быть. Распознай врач у Али малярию — имей бы я немножко больше денег — и Ирина не умерла бы.

<...> Ирина! Если есть небо, ты на небе, пойми и прости меня, бывшую тебе дурной матерью, не сумевшую перебороть неприязнь к твоей темной непонятной сущности. — Зачем ты пришла? — Голодать — петь “Ай дуду”.., ходить по кровати, трясти решетку, качаться, слушать окрики...” (НЗК, II, 84 — 85).

На мгновение, как видим, Цветаева ухватывается за соломинку “случайной смерти” и вскоре вновь возвращается к этой мысли, но только для того, чтоб, оттолкнувшись от нее — *оттолкнув ее*, — вынести окончательный приговор *себе*. И это был второй — в связи с Ириной — цветаевский суд над собой.

“Иринина смерть ужасна тем, что она — чистейшая случайность. (Если от голода — немножко хлеба! если от малярии — немножко хины — ах! — НЕМНОЖКО ЛЮБВИ...”

И после отступа еще раз — и уже неотменимо:

“История Ирининой жизни и смерти:

На одного маленького ребенка в мире не хватило любви” (там же, II, 86).

Отсюда ***—*** спустя годы и годы ***—*** глубинный смысл “Сказки матери” (1934)8 , очень, кстати, непростой, с богатым подтекстом “Сказки”, где Цветаева — писатель и мать двух дочерей, из которых одна стала жертвой времени, обстоятельств и *недостаточной материнской любви, —* пересказывает сказку своей матери двум ее дочерям — то есть самой Марине (Мусе) и ее сестре Асе, из которых одну (Мусю) она *любит меньше*, хоть и старается это скрыть, — о какой-то третьей (сказочной!) матери, чудом сумевшей спасти *обеих* своих дочерей *одинаковой* к обеим, одинаково безграничной любовью.

Отсюда же — несколько дней спустя — вывод: “Какие-то природные законы во мне нарушены, — как жалко! Мое материнство — моя смута в области пола” (НЗК, II, 104), вывод, чуть позже уточненный: “Ирина, — вот они, мои нарушенные законы!” (там же, II, 107). Породит он, однако, не отчаяние, напротив — разрешится сном — утешительным и обнадеживающим. “*Сном про Ирину”*, путь к которому, надо полагать, вел через осознание не-природности, не-законности отношения к дочери. Только *поняв и приняв* нарушенность закона, можно было — пусть пока только во сне — познать чудо подлинного материнства: “Держу ее на руках, верней — она меня обхватила (руками за шею, ногами за пояс.) <...> Держа ее на руках, испытываю такую остроту блаженства, с которой не сравнится *НИЧТО*. — Непереносно как-то. (Может быть это и есть — Материнство?)” (там же, II, 107)9 .

**2. ДОЧЬ И СЫН**

Этот рубеж был достигнут после Пасхи и подготовлен он был душевной работой, которая неостановимо происходила в ней всю Страстную неделю. Накануне, 17 марта, пришла весточка — после года полной неизвестности — о Сергее Эфроне, и Цветаева вознесла молитву, прося у Бога встречи “с Сережей — здесь на земле”, “здоровья и долгой жизни Але”, спасения и благополучия всем своим близким, прощения своих грехов, смерти “раньше Сережи и Али”. И сразу после этого хлынули воспоминания-размышления, отчасти уже приведенные нами, об Ирине. Они шли по нарастающей, пока 28 марта, в *Страстную субботу* (специально отмечено и выделено Цветаевой), не разрешились такой записью:

“На днях — 13-го апреля — Ирине было бы 3 года. Мне не с кем говорить об Ирине — Аля не знает, с другими совестно, ни к чему — поэтому пишу об ней в книжку.

<...> Вспоминаю — сами вспоминаются! — чудесные Иринины глаза — ослепительно-темные, такого редкостного зелено-серого цвета, изумительного блеска — и ее огромные ресницы.

О, я хочу сына! — А если С[ережу] мне не суждено встретить — мне никого не нужно.

— А все-таки — даже если будет сын — мне все-таки вечно будет грызть сердце, что двое, когда могло быть трое. — Вот.

В Иринину смерть я по прежнему не верю” (НЗК, II, 89).

Так, в лучах “чудесных Ирининых глаз”, в надежде на возвращение (для нее — воскресение) Сережи, в Страстную субботу 1920 года, всего через три дня после Благовещенья, в том году пришедшегося на среду Страстной недели, родилась мечта о сыне. Я бы сказала, *взамен* умершей дочери, однако точнее будет, пожалуй, — в продолжение так рано оборвавшейся ее жизни, во исправление всего, что в дочери, с дочерью не сбылось. Но в реальности, как ни посмотри, все-таки — *взамен*.

Так или иначе, но это был отнюдь не эпизод, ибо сделанная в книжке запись тут же — думаю, в тот же самый день — реализовалась в двух стихотворениях, которые как бы разворачивают ее и, делая следующий шаг по пути мечты о сыне, материализуют, почти портретно — в жесте, масти и темпераменте — изображают его.

Почему думаю, что в тот же день? Под обоими стихотворениями вместо точной даты обозначена Пасхальная неделя (“Пасхальной неделей” Цветаева называет Страстную неделю. — *Т.Г.*), а следующее стихотворение датировано Пасхой. Значит, стихи были написаны не позже субботы. Трудно представить себе, однако, чтобы субботняя запись в книжке была сделана *после* стихотворений: она прочитывается именно как подступ к ним, развивающим и утверждающим ее. И потом там сказано, что, кроме книжки, она ни с кем не говорит об Ирине. *После* стихов книжка уже не была бы единственным собеседником. Наконец, если бы стихи, особенно второе из них — “Сын”, были написаны в Благовещенье (а такую возможность никак нельзя игнорировать), то Цветаева вряд ли вместо точной и такой символичной даты (в этот день Мария узнала о том, что у нее родится Божественный Сын) поставила бы более расплывчатую датировку — “Пасхальная неделя”. Расплывчатую в днях, но абсолютно достоверную по сути, если наше предположение верно и стихи, как и запись в книжке, написаны в Страстную субботу. Ибо мысль об Ирине неостановимо работала всю неделю и, просветлившись, дополнилась мечтой о сыне в самом ее конце. А если все так, то день этот, 28 марта (старого стиля) 1920 года, нужно считать исключительно знаменательным для всей последующей жизни Марины Цветаевой.

В тот день смерть дочери — так же, как в записи, все еще не понятая и не принятая до конца — прорвалась в стихи.

В тот день, рассказав о том, что с ней — совсем еще недавно матерью двух дочерей — случилось, написав реквием Ирине, Цветаева простилась с ней, такой же, как в записи, — нежной, светлой, тоненькой, лучистой:

Две руки, легко опущенные

На младенческую голову!

Были по одной на каждую —

Две головки мне дарованы.

Но обеими — зажатыми —

Яростными — как могла! —

Старшую у тьмы выхватывая —

Младшей не уберегла.

Две руки — ласкать-разглаживать

Нежные головки пышные.

Две руки — и вот одна из них

За ночь оказалась лишняя.

Светлая — на шейке тоненькой —

Одуванчик на стебле!

Мной совсем еще не понято,

Что дитя мое в земле.

В тот день душа Цветаевой обрела надежду и успокоение в будущем сыне, на младенческую голову которого со временем ляжет — “ласкать-разглаживать” — вторая, оказавшаяся вдруг лишней материнская рука. Впрочем, это с такой очевидностью следует из первого, а также из непосредственного соседства двух стихотворений, что во втором (“Сын”) младенчество, да и все детство, опущены — сын предстает уже юношей: не с материнской рукой, легшей на его голову, но с упертой “в талью” своей рукой — уже сильный, уже крепко стоящий на земле. Между двумя видениями: умершей *маленькой* дочери и еще имеющего родиться *взрослого* сына — протягивается, таким образом, длинное-длинное, подобное протянутой, ищущей опоры руке, соединительное тире, некая протяженная линия жизни, цветаевской жизни. Теперь до этого срока — до юношеского возраста сына — она должна дожить.

В тот день поразительного ясновидения она, как это ни покажется невероятным, знала и то, что час его юношества будет ее последним часом. Если в чем и ошиблась, то в причинах, но не в сроках.

В тот день она увидела и внешний облик своего сына и, сравнивая поэтический портрет с фотографиями Георгия, мы можем только поразиться ее прозрению. Словом, вот оно, стихотворение “Сын”, настолько важное для Цветаевой и для того, в чем пытаюсь здесь разобраться, что привожу его, как и предыдущее, целиком:

Так, лениво рукой упершись в талью,

И ногу выставив вперед,

Стоишь. Глаза блистают сталью,

Не улыбается твой рот.

Краснее губы и чернее брови

Встречаются, но эта масть!

Светлее солнца! Час не пробил

Руну — под ножницами пасть.

Все женщины тебе целуют руки

И забывают сыновей.

Весь — как струна! Славянской скуки

Ни тени — в красоте твоей.

Остолбеневши от такого света,

Я знаю: мой последний час!

И как не умереть поэту,

Когда поэма удалась!

Так, выступив из черноты бессонной

Кремлевских башенных вершин,

Предстал мне в предрассветном сонме

Тот, кто еще придет — **мой сын**.

В тот день решился и мучивший ее вопрос: как она скажет мужу о смерти Ирины. И хотя после мартовской весточки Цветаева еще только раз (в мае) услышала стороной о Сергее Эфроне, хотя след его после этого опять надолго затерялся, хотя письмо к нему, все еще не найденному, все еще не знающему о потере, она начала писать спустя целый год, в феврале 1921-го, написала она его так, как будто не прошло и дня после той Страстной субботы, которая так многое для нее прояснила:

“Сереженька, в прошлом году, в Сретение, умерла Ирина. Болели обе, Алю я *смогла* спасти, Ирину — нет.

Сереженька, если Вы живы, мы встретимся, у нас будет сын. Сделайте как я: *НЕ* помните.

<...> Не пишу Вам подробно о смерти Ирины. Это была *СТРАШНАЯ* зима. То, что Аля уцелела — чудо. Я *вырвала* ее у смерти, а я была совершенно безоружна!

Не горюйте об Ирине, Вы ее совсем не знали, подумайте, что это Вам приснилось, не вините в бессердечии, я просто не хочу Вашей боли, — всю беру на себя!

У нас будет сын, я знаю, что это будет, — чудесный героический сын, ибо мы оба герои” (НСИП, 283–284).

Ему, стараясь оградить от боли, писала: “Сделайте как я: НЕ помните”, но сама она Ирину, конечно же, помнила и — с интенсивностью свежей утраты — весь прошедший год и все последующие годы. О том, сколько боли и какая боль выпала на ее долю, говорят наряду с “Записными книжками” и стихи 1920 года. И пусть об Ирине — напрямую — ничего больше не было написано, однако о своих переживаниях (без конкретики, но нельзя же, читая, не помнить, в какой момент своей жизни она это пишет!) Цветаева в эти месяцы говорила постоянно: об одиночестве, о тяжести человеческого равнодушия и суда, о смерти, о разлуке и наказании.

Начиная все с той же Страстной (“Пасхальной”) недели, когда — в непосредственном соседстве со стихами о дочери и о сыне — написала:

А следующий раз — глухонемая

Приду на свет, где всем свой стих дарю,

свой слух дарю.

Ведь все равно — что говорят — не понимаю.

Ведь все равно — кто разберет? — что говорю.

Бог упаси меня — опять Коринной

В сей край придти, где люди тверже льдов,

а льдины — скал.

И потом, через месяц, в мае, признавая суд собственой совести, скажет “нет”, пусть в другой связи, *каменно-ледяному* человеческому суду:

Пригвождена к позорному столбу

Славянской совести старинной,

С змеею в сердце и с клеймом на лбу,

Я утверждаю, что — невинна.

И еще через месяц — в июне — чередой, подряд, в трех стихотворениях скажет о своей незаживающей ране, о своем изгойстве среди людей, о том, что нищий дом ее открыт каждому, кто придет *не* с осуждением:

Руки заживо скрещены,

А помру без причастья.

Вдоль души моей — трещина.

Мое дело — пропащее.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Был Вечный Жид за то наказан,

Что Бога прогневил отказом.

Судя по нашей общей каре —

Творцу кто отказал — и тварям

Кто не отказывал — равны.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Дом, в который не стучатся:

Нищим нечего беречь.

Дом, в котором — не смущаться:

Можно сесть, а можно лечь.

Не судить — одно условье.

И еще через месяц — в июле — так напишет о смерти:

Что-то цепью за мной волочится,

Скоро громом начнет греметь.

— Как мне хочется,

Как мне хочется —

Потихонечку умереть!

И тогда же — скажет самосжигающие слова о разлуке — преступной разлуке, смертной разлуке:

На всех матерей, умирающих рано,

На мать и мою ты похожа, — разлука!

Ты так же вуаль оправляешь в прихожей.

Ты Анна над спящим Сережей, — разлука!

Стрясается — в дом забредешь желтоглазой

Цыганкой, — разлука! — молдаванкой, — разлука!

Без стука, — разлука! — как вихрь заразный

К нам в жилы врываешься — лихорадкой, — разлука.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ты нынче зовешься Мариной, — разлука!

В этот красноречивый ряд просится еще одно стихотворение 1920 года — без точной датировки, но с точной картиной жизни Цветаевой в весенне-летние месяцы:

Есть подвиги. — По селам стих

Не ходит о их смертном часе.

Им тесно в житиях святых,

Им душно на иконостасе.

Покрепче нежели семью

Печатями скрепила кровь я.

— Так, нахлобучив кулаком скуфью

Не плакала — Царевна Софья!

Изгнанничество царевны Софьи, уделом, послушанием и подвигом которой стало смирение и терпение, Цветаева напрямую, как видим, сближает со своим тогдашним состоянием гордого — без жалоб, слез и просьб — одиночества и изгойства. И не только в стихах. Вот запись середины июня:

“Ирину было легко спасти от смерти, — тогда никто не подвернулся.

Так же будет со мной.

Соблазнюсь когда-нибудь — дорогой — “все уезжают, надо же куда-нибудь уехать!” — а потом — другие: “Как жалко! Если бы мы знали...”

А со мной никогда ничего [не] узнаешь: — я слишком стара — даже для своих 27 лет, чтобы решаться — с людьми — быть настоящей. Раз сами не помогают, — бессмысленно просить помощи.

Живу, придавленная, почти раздавленная, больная *волей*, брошенная всеми, не только не необходимая и не нужная — но не желанная даже! — никому.

Аля играет в куклы, мечтает научиться шить, отходит понемножечку, с возрастом она становится ребячливей, — да и слава Богу” (НЗК, II, 195).

Так проходил этот страшный для Цветаевой год, настолько страшный и одинокий, так “непереносно” захлестнувший болью, которую никто с ней по-родственному или по-дружески разделить не захотел, что к концу его она пришла с двумя решительными, выстраданными “нет”: сказала нет Москве, месту своей трагедии, и нет — сестрам Эфрон. Впервые они прозвучали в декабрьском письме к Анастасии Цветаевой, где, сообщив о смерти Ирины, она писала: “Лиля и Вера вели себя хуже, чем животные, — вообще все отступились”. И дальше: “Я Москву ненавижу <...> Я очень одинока, хотя вся Москва — знакомые. Не люди. Верь на слово” (VI, 190–191). Последствия обоих этих “нет” без особого труда прослеживаются в более поздней судьбе Цветаевой, равно как и линия ее памяти об Ирине, линия усвоенного урока, который во многом определил все дальнейшее материнство Цветаевой.

Об “уроке” она писала Вере Звягинцевой в одном из февральских писем 1920 года: “…Аля рано засыпает, остаюсь одна со своими мыслями, ночью мне снится во сне Ирина, что — оказывается — она жива — и я так радуюсь — и мне так естественно радоваться — и так естественно, что она жива. Я до сих пор не понимаю, что ее нет, я не верю, я понимаю слова, но я не чувствую, мне все кажется — до такой степени я не принимаю *безысходности* — что все обойдется, что это мне — во сне — урок, что — вот — проснусь” (там же, 149). Но “урок” был наяву, и он оставил глубокий, болезненный след в сознании и подсознании Цветаевой. А когда стали явью мечта-стих-сон о сыне, страшный тот урок стал повседневным, ежечасным руководством к действию. Хотя и до рождения сына играл немалую роль в поведении Цветаевой.

Об этом со всею отчетливостью свидетельствует письмо 1923 года к А. Богенгардт, женщине, которая заботилась об Але в Тшебове, куда, по настоянию отца и вопреки желанию матери, она была отправлена учиться в гимназии. Обеспокоенная восьмидневным молчанием Али, Цветаева попросила Богенгардт сообщить о ее здоровье, не скрывать от нее ничего, а получив утешительную весточку, писала: “Сердечное и глубочайшее спасибо за телеграмму и письмо. У меня в эти дни душа изныла об Але. Если бы Вы знали, как я боюсь разлуки! В этом отношении я конечно ненормальный человек: не от природы, а жизнь сделала такой. В Революцию, в 1920 г., *за месяц* до пайка у меня умерла в приюте младшая девочка и я насилу спасла от смерти Алю. Я не хотела отдавать их в приют, у меня их *вырвали:* укоряли в материнском эгоизме, обещали для детей полного ухода и благополучия, — и вот, через 10 дней — болезнь одной и через два месяца — смерть другой. С тех пор я стала безумно бояться разлуки, чуть что — и тот старый леденящий ужас: а вдруг? Знаю все Ваши возражения <...> знаю Вас и Ваше сердце, и пишу Вам все это для того, чтобы Вы знали *корень* этой ненормальности” (VI, 647).

Тот, кому пришлось пережить сильное потрясение, оставившее след в виде неподотчетной сознанию фобии, знает, что она никогда уже не проходит. Она может только задремать на время, порой даже очень надолго, но как только новые обстоятельства напомнят пережитый однажды страх, она снова возникнет во всей своей силе, тревожности, даже паничности. Так что запомним сказанное в этом письме, оно показывает, на какой глубине эмоций пережила Цветаева смерть Ирины, оно же поможет нам увидеть причину, *корень* цветаевских решенийи поступков гораздо более позднего времени. И еще оно свидетельствует о том, что Ирину Цветаева помнила всегда, хотя бы через страх потерять других своих детей — Алю и особенно Георгия. Думаю, не будет преувеличением сказать, что с рождением сына трагедия зимы 1920 года стала и вовсе повседневной участницей жизни Марины Цветаевой. И тому есть разновременные косвенные подтверждения.

**3. МАТЬ И СЫН**

Георгий Эфрон (писала о нем Борису Пастернаку: “Я себе его заказала”) родился через четыре года после того письма, в котором Цветаева обещала мужу сына, и ровно через пять лет после смерти Ирины — 1 февраля 1925 года. Вскоре после его рождения Цветаева, сверившись с новыми своими чувствами, сказала о себе: “В человеческом — больше всего — мать” (НСТ, 345). И уже тогда имела на это полное право, ибо *пере*страдала смерть одного своего ребенка и *вы*страдала рождение другого.

С первых же шагов вновь дарованного ей материнства она всячески избегала рецидивов прошлого, причем избегала сознательно, *все помня*. О чем свидетельствует продолжение той же записи 10 марта 1925 года: “Буду любить его — каким бы он ни был: не за красоту, не за дарование, не за сходство, — за то, что он *есть*. М.б. это самая большая любовь моей жизни? Может быть — СЧАСТЛИВАЯ любовь? (Такой не знаю. Любовь для меня — беда)”. И дальше — в непосредственном обращении к сыну: “Я на тебя за все эти пять недель ни разу не рассердилась (нужно знать меня, мою физическую любовь к свободе и повышенную слуховую чувствительность!). Самое мое острое и частое чувство к тебе — благодарность” (там же, 345–346). Как тут не сказать, что в колыбель Муру был положен *преодоленный* дурной опыт второго цветаевского материнства, как не понять, что, *тбк* относясь к сыну, *тбк* его любя, Цветаева восстанавливала “нарушенные законы” (или, может быть, точнее: естественные законы восстанавливались в ней), искупала — насколько это возможно — свою вину перед неполюбленной дочерью.

Каким было ее отношение к новорожденному сыну, явствует и из письма Сергея Эфрона, отдыхавшего в июле 1925 года в санатории и писавшего оттуда сестре Елизавете: “Марина дрожит над ним, ни на минуту от него не отходит <...> Марина очень занята мальчиком, варкой ему и нам пищи, тысячами забот, к[отор]ые разбивают и мельчат время и не дают ей длительного досуга для работы. Но она все же ухитряется между примусом и ванной, картофелем и пеленками найти минуты для своей тетради” (НСИП, 317–318).

И так было не только в младенчестве Мура. Цветаева была ему на протяжении лет заботливейшей матерью. Она проводила с ним все свои дни, со временем начав жертвовать ради него даже творчеством. Она никогда не расставалась с ним и никому его не передоверяла. Она записывала за ним — вплоть до 1938 года, то есть до его 13 лет, — чуть ли не каждое слово, во всяком случае, каждый интересный поворот речи и мысли. И не только записывала, но и — спустя годы — переносила все в “Сводные тетради”, куда, начиная с 1932-го, переписывала для сохранности наиболее значимое, на ее взгляд, из черновых тетрадей и разрозненных старых записных книжек. Кстати, и приведенную выше запись с ключевыми словами: “*в человеческом — больше всего — мать*” — перенесла туда в 1933-м.

Она из кожи вон лезла, чтобы обеспечить ему летний отдых на природе. Она всячески сопротивлялась тому, чтобы он пошел в начальную школу, ибо боялась, что в гуще детей (по 40 человек в классе) ему не будет уделено достаточно внимания, что он окажется на руках не любящих людей, а чиновников. А когда он пошел-таки в школу, она провожала и встречала его ежедневно. Словом, она обожала его и оберегала, как только могла. Оберегала и посвящалась ему с некоторым даже — по крайней мере, на взгляд окружающих — перебором. О принципах своего отношения к Муру, а также о стороннем взгляде на них Цветаева говорит в одном из писем 1934 года своему многолетнему доверенному чешскому другу А. Тесковой:

“...Пока я *жива* — ему (Муру) должно быть *хорошо*, а хорошо — прежде всего — жив и здоров. Вот мое, по мне, самое разумное решение, и даже не решение — мой простой инстинкт: его — сохранения. Ответьте мне на это, дорогая Анна Антоновна, п.ч. мои проводы в школу и прогулки с ним (час утром, два — после обеда) считают *сумасшествием...* Дайте мне сад — или хорошую, мне, замену — либо оставьте меня в покое. Никто ведь не судит богатых, у которых няньки и бонны, или *счастливых*, у кого — бабушки, почему же *меня* судят? А судят все...” (VI, 413).

Не сомневаюсь, что в письмах Цветаевой к Тесковой нашлось бы еще немало признаний, которые дополнили бы восстанавливаемую здесь картину (да и не только ее). Беда в том, что они (а их 135!) по сей день публикуются с чудовищными сокращениями (до одной трети всего объема!). Вот и в письме, которое цитирую, пропущено 97 строк, в том числе 31строка, непосредственно предшествующая приведенному выше отрывку. А в другом письме того же года, где Цветаева говорит о внутренней настоятельной потребности написать завещание, не вещественное, ибо: “у меня ничего нет — а что-то, что мне нужно, чтобы люди обо мне знали: *разъяснение*” (там же, 416), пропущено и вовсе 119 строк — и прямо перед словами о завещании, о желании “не-быть”. С этим, к сожалению, ничего не поделаешь, хотя упорное *не-*издание полного текста писем к Тесковой выглядит сейчас, когда бережно собирается и публикуется все, написанное цветаевской рукой, по меньшей мере странно.

На фоне этого печального недоразумения с письмами к Тесковой нам остается порадоваться хотя бы тому, что до-ступным для прочтения оказался приведенный выше небольшой отрывок, значение которого трудно переоценить.

Ибо, во-первых, из него следует, что *стороннее осуждение*, связанное с ее отношением к собственному ребенку (диаметрально противоположным, подчеркнем это, отношению к Ирине), снова — бумерангом — вернулось к Цветаевой и что оно было ей весьма *не* безразлично. Оно, знакомое ей по революционно-бедственной Москве, ставшее какой-то неотъемлемой частью ее материнства (за взрослеющую Алю тоже осуждали — перегружает домашними заботами, превращает в няньку брата, заедает ее юность и пр.), тяготило ее, иначе не стала бы она искать поддержки и понимания у чешской своей подруги. Оно не иссякло, впрочем, ни в 1934-м, ни в 1940-м, скажем, году, а в августе 1941-го нашло новый импульс и новую пищу в самоубийстве Цветаевой — ведь обыденное сознание может увидеть и здесь эгоизм, непозволительный изъян в ее материнстве: ушла из жизни, оставив сына на произвол судьбы.

Между тем (и это во-вторых и в главных) из приведенного выше фрагмента письма явствует, что в своих действиях по отношению к 9-летнему Муру Цветаева руководствовалась (и, очевидно, не только в данной конкретной ситуации) “простым инстинктом: *его* — сохранения” (курсив мой. — *Т.Г.*), который едва ли не заменил куда более простой и привычный для людей инстинкт *само*сохранения. И собиралась действовать так же до тех пор, пока она *жива*. Мы знаем, что не только собиралась, но и следовала сформулированному в письме принципу до самого своего конца (“пока я *жива* — ему (Муру) должно быть *хорошо*, а хорошо — прежде всего — жив и здоров”), тому есть немало свидетельств современников. Но ведь она *живая* принимала свое последнее решение. Неужели оно одно составило исключение из многолетнего правила (инстинк-та!), ставшего для Цветаевой неотменимым модусом вивенди?

Оставим пока этот вопрос условно открытым, лишь вспомним в связи с ним, как после смерти Ирины она писала: “Мне начинает казаться, что <...> лучше было бы чтобы *я* умерла, — достойнее”. И вернемся к двум “нет”, которые проговорила Цветаева на исходе 1920 года.

**4. МОСКВА**

Тогда, обсуждая с сестрой Анастасией, где и как стоило бы им встретиться и поселиться вместе, Цветаева настаивала на том, чтоб сестра приехала в Москву, приводила аргументы в пользу такого решения. Хотя тут же признавалась: “Я Москву ненавижу, но сейчас ехать не могу, ибо это единственное место, где меня может найти — если жив (имеется в виду С. Эф-рон. — *Т.Г.*). — Думаю о нем день и ночь, люблю только тебя и его” (VI, 191). Когда же в 1921-м узнала, что муж жив и направляется в Чехию, сделала все возможное и даже невозможное, чтоб воссоединиться с ним, и в мае 1922 года выехала из России вместе с Алей.

В апреле 1926 года С. Эфрон, знавший о разрыве между сестрами и женой, тяжело переживавший этот разрыв, не взявший ни одну из сторон (“не мне, да и вообще “не человекам” быть судьями в происшедшем” — НСИП, 304, — написал он сестре и возобновил с ней переписку), попробовал в письме к Е. Эфрон выступить в роли миротворца. И вот в какой форме: “Нужно каким-то образом выправить ваши отношения с Мариной. Повторяю — это очень трудно. М[ожет] б[ыть] ты даже не представляешь себе, как это трудно, но необходимо. Не скрою, что Марина не может о тебе слышать. Время сделало очень мало и вряд ли можно на него рассчитывать и впредь. Мне кажется — ты должна перешагнув через многое протянуть руку. И не раз и два, а добиваться упорно, чтобы прошлое было забыто, и если не забыто, то каким-то образом направлено по другому руслу эмоциональному. Не ищи в этом случае справедливости. Не в справедливости дело, а в наличии ряда страстных чувстований, к[оторы]е *нужно* победить не в себе (что легко), а в другом. Если не выполнить этого, то придется на многие годы нести ядовитую тяжесть <...> *Необходимо с войной покончить*. Марина в ослеплении. Поэтому должна действовать ты со всею чуткостью и душевной зрячестью. Ведь здесь, при твоей зрячести, не может быть места для самолюбия. Тем более, что Москва и все что связано с нею для Марины тяжкая и страшная болезнь. Как к тяжкой болезни, как к тяжкому больному и нужно подходить” (НСИП, 323–324). Разумеется, никаких шагов к примирению не последовало. Вместо этого Е. Эфрон надолго замолчала, и ее брату пришлось отступить, отказаться от своих благих намерений. В июне, так и не дождавшись ответа, он писал сестре: “Чего же ты замолкла? Неужели таков твой ответ на мое последнее письмо? Если да, то ты нехорошо перемудрила. Но Бог с ним, с моим последним письмом” (там же, 325). В реакции Е. Эфрон не было ни случайности, ни упрямства, ни “самолюбия”. Просто С. Эфрон, сам того не понимая, просил сестру о невозможном. Будь иначе, она, с ее душевным складом, давно прониклась бы сочувствием к Цветаевой и нашла бы способ поддержать ее, протянуть ей руку в страшные месяцы весны 1920 года. Но у нее, насколько можно судить, был свой “ряд страстных чувствований”, и в случае шага к примирению ей пришлось бы в первую очередь погасить их в себе самой, а это было бы для нее чуть ли не труднее, чем быть “чуткой, душевно зрячей” по отношению к Цветаевой: она ведь и сама очень тяжело пережила смерть Ирины, которая “стала как бы” *ее* “дочкой”, и помнила девочку, оплакивала потерю (как говорила мне Руфь Борисовна Вальбе, нареченная дочь Елизаветы Эфрон, неотступно бывшая при ней долгие годы ее болезни) до последних своих дней. А умерла она в 1976 году!

Но вернемся к Цветаевой и запомним: Москва, ставшая ненавистной в 1920 году, спустя шесть лет была для нее “тяжкой и страшной болезнью”. То есть ничего не забылось и даже не притупилось. Скорее, наоборот.

А потом наступил в ее жизни момент, когда стала обсуждаться в семье возможность возвращения в Россию. Об этом страстно мечтал С. Эфрон, и не только мечтал, но и предпринимал практические шаги. Цветаева была в ужасе от такой перспективы. Вот что писала она по этому поводу А. Тесковой в 1936 году: “Живу под тучей — отъезда. Еще ничего реального, но мне — для чувств — реального не надо. Чувствую, что моя жизнь переламывается пополам и что это ее — последний конец. Завтра или через год — я все равно уже не здесь (“на время не стоит труда...”) и все равно уже не живу” (VI, 436). Дальше говорится о том, что делать в случае отъезда в Россию с рукописями, с книгами, как тяжело будет расставаться с немногими, но такими дорогими друзьями, что станет с Муром на родине, которую он никогда не видел. То есть отъезд представлялся-таки реальным. А под конец письма — поскольку пугающее событие отъезда хочешь не хочешь надвинулось вплотную — возникает тема места жительства в России, и вот что Цветаева в этой связи пишет:

“Еще одно: в Москве жить я не могу: она — американская (точный отчет сестры).

С[ергей] Я[ковлевич] предлагает — Тифлис. (Рай). — А Вы? — А я — где скажут: я давно перед страной в долгу.

Значит — и жить вместе, ибо я в Москву *не хочу: жуть!* (Детство — юность — Революция — три *разные* Москвы: точно живьем в сон, сны — и *ничто* не похоже! все — неузнаваемо!)” (там же, 437).

Строй и тон этого письма не дают никаких оснований думать, что написано оно под влиянием момента или эпизодического настроения, — в нем чувствуется выстраданность, в нем дышит судьба. Москва, по всей видимости, обсуждалась в семье задолго до его написания и, может быть, не единожды. По крайней мере, за четыре месяца до этого письма С. Эфрон писал сестре: “Марина много работает. Мне горько, что из-за меня она здесь. Ее место, конечно, там. Но беда в том, что у нее появилась с некоторых пор острая жизнебоязнь. И никак ее из этого состояния не вырвать. Во всяком случае через год-два перевезем ее обратно, только не в Москву, а куда-нибудь на Кавказ” (НСИП, 363).

Похоже, немалую долю того, что С. Эфрон называл “острой жизнебоязнью”, была боязнь (жуть!) Москвы. Не столько даже Советской России — с мыслью о ней Цветаева вынужденно смирилась уже к тому времени, хоть и предчувствовала гибельность (для себя) возвращения на родину, — сколько именно Москвы. Иначе вообще трудно понять, откуда возникла идея совершенно чужих для Цветаевой мест, таких как Тифлис и Кавказ, мест, которые должны были навеять новые впечатления, а не возвращать в прошлое, не погружать “*живьем* в сон, сны”, некоторые из которых были непереносимо тяжелы. Так или иначе, но формула сложилась: пусть в Россию, *только не в Москву.*

Но именно в Москву попала Цветаева в 1939 году — выбирать С. Эфрону, а следовательно и ей, не приходилось. А вскоре, после ареста дочери и мужа, она осталась там совсем одна с сыном Георгием. Возможно, ей была тяжела, как она и ожидала, *неузнаваемость* места, где прошли ее детство и юность, где пережила она революцию. А может быть, реальные тяготы ее существования — бездомность, тревога за родных, безденежье, всяческая неустроенность — превзошли все ожидания и притупили пытку памяти о безвозвратно прошедшем. По крайней мере, эта пытка ее не сломила. Она мужественно сопротивлялась, боролась с обстоятельствами, “старалась”: искала и находила пусть временное жилье для себя и сына, зарабатывала на жизнь переводами, носила передачи в две тюрьмы, даже книгу стихов подготовила к изданию...

Правда, говорила и писала о желанной смерти, звала ее то своим стихом (“Пора! для *этого* огня — Стара!”, “Пора снимать янтарь...”), то переведенными строчками Шарля Бодлера (“Смерть! Старый капитан! В дорогу! Ставь ветрило!”). Но когда она не звала смерть, когда не говорила с ней и о ней? Ее напряженный диалог, контакт со смертью был таким долгим, многолетним и неотступным, что и на сей раз он мог, казалось бы, замкнуться в строке, в слове, в предощущении. Если бы не новая пытка — непредвиденная и непереносимая — *узнаваемостью*. С ее приходом, думаю, и пробил час, наступил *срок* Марины Цветаевой.

Произошло это, когда началась война, и совсем не случайно с первых же дней войны она, по воспоминаниям многих современников, по свидетельству сына, панически заметалась, “совсем потеряла голову”. Ибо вернулся давний кошмар, повторились внешние обстоятельства (впрочем, в августе 1940-го сказала: “для меня нет ни одной *внешней* вещи, все — сердце и судьба”) постигшей ее трагедии. Действительно, ужас войны, как и ужас революции, застал ее опять в *Москве*, мужа опять рядом не было, Цветаева опять *одна* оказалась в водовороте никак не зависящего от нее, обезоруживающего ее *смертоносного* исторического катаклизма, и опять на ней лежала ответственность за жизнь ребенка. Тогда, в пореволюционной Москве, справилась (как и сейчас справлялась — впрочем, сейчас была гораздо ответственнее и реалистичней) со всеми тяготами: страшным бытом, мучительной тревогой за о*тсутствующего*, подверженного смертельной опасности мужа. Не справилась тогда только с одним — главным: не уберегла трехлетнюю дочь.

И для нее вовсе не важно было, что Георгий уже достаточно взрослый и самостоятельный человек (в феврале 1941 года ему исполнилось 16 лет). Для нее, надо полагать, гораздо важнее было то, что это тот самый ребенок (и именно сын!), которого она увидела и запечатлела в стихе в Страстную субботу 1920 года, которого обещала Сергею Эфрону — в утешение по смерти Ирины, над колыбелью которого поклялась любить его, в отличие от Ирины, “не за красоту, не за дарование, не за сходство, — за то, что он *есть*”. И клятве своей осталась верна до самого конца.

Хотя преданная, заботливейшая любовь ее к сыну отнюдь не была слепой: она знала его, как никто другой, со всеми его преимуществами и недостатками. Знала, что умственной и физической развитости сопутствует в нем душевная глухота, сосредоточенность на дурно понятой “общественности”: газеты, витрины, всяческие новости и новинки. Знала, что многочтение не было в нем страстным, что “он не *живет* в книге, он по ней скачет, ее ест — и дальше”10 , что ему ведомы только две — такие чуждые ей самой — страсти: “УЧЕНИЕ И РАЗВЛЕЧЕНИЯ”11 , что в нем сильно проявлена беспощадность “нового человека”. И многое другое видела она в обожаемом сыне.

Но от материнского долга, от клятвы своей не отступилась ни разу. Писала в связи с Георгием: “Нужно все отдавать детям без всякой надежды — даже на оборот головы. Потому что — нужно. Потому что — иначе нельзя — *тебе*”12 . Или другое — в самый канун отъезда из Франции: “Я своего ребенка *обязана* любить больше чести. (Честь — просто!)” (НСТ, 553).

Вообще, тема Цветаева — Георгий (мать — сын) обширна и сложна. Мне уже доводилось писать об этом достаточно подробно13 , здесь же ограничусь сказанным, подчеркнув только одно: вину перед Ириной Цветаева — сознательно или подсознательно — искупала все шестнадцать лет третьего своего материнства. И представить себе, что она, сказавшая о себе — “*Оборот назад —* вот закон моей жизни” (VI, 439), могла летом 1941 года не оглянуться с ужасом на зиму 1920-го, если не вовсе невозможно, то, согласимся, очень и очень трудно.

А вот понять — в свете всего вышесказанного, поэтапно прослеженного, — как прошлое, оборотнем ворвавшись в настоящее, удесятерило растерянность и страх, связанные с войной, совсем нетрудно. К Цветаевой, обострившись, вернулась (если вообще покидала ее) “тяжкая и страшная болезнь” (не о ней ли написала она в одной из предсмертных своих записок — “я *тяжело-больная*”?), и Москва стала для нее синонимом ловушки, капкана, могилы. Не случайно в июле она едет в дальнее Подмосковье, в деревню, на дачу. А вернувшись ненадолго в Москву, начинает панически рваться из нее вон, не слушая никаких разумных доводов, не подготовившись как следует к эвакуации, не задумываясь, кажется, о последствиях. Главное, поскорее увезти сына от смерти, которая в Москве видится неизбежной и, думается, отнюдь не только из-за *реальных* бомбежек.

**5. НАКАЗ**

Но вот наваждение Москвы осталось позади, и вместе с ней ненадолго отступил призрак гибели сына. Теперь пришло время позаботиться о долгосрочном устройстве на каком-то новом месте. Пунктом назначения была Елабуга, но, как следует из “Дневников” Георгия Эфрона, еще до прибытия туда обсуждались и Казань, и Чистополь. Вопрос был в том, где удастся Цветаевой найти работу, обеспечивающую им с Георгием жилье и пропитание. Сын, правда, до последнего дня августа настаивал на том, чтобы ему была обеспечена еще и школа, но Цветаева, судя по тем же “Дневникам”, не включала учебу в число приоритетов (“не обольщайся школой”). А вот вопрос пропитания стоял очень остро, и, когда стало ясно, что в Елабуге найти работу дело почти безнадежное, Цветаева одна отправляется в Чистополь, напутствуемая таким вот “наказом” сына:“Теперь нужно совершенно ясно, чтобы мать поехала одна без вещей в Чистополь. Она там все разузнает насчет прописки, работы, комнаты. Если же ей не удастся там устроиться, то пусть она постарается как-нибудь устроить меня туда учиться (в интернат, как-нибудь). Мне в Елабуге совершенно нечего делать”14 . И далее запись, сделанная два дня спустя, 24 августа: “Я матери дал такой наказ: в случае если ей там не удастся устроиться — нет работы, не прописывают, то пусть постарается устроить хотя бы меня: пионервожатым в лагере ли, или что-то другое, но основное для меня — учиться в Чистополе. В конце концов, попытка не пытка”15 .

Ведомый своей страстью к учению, бывшему для него, по собственному его признанию, и неким родом развлечения, культурно-приятного времяпрепровождения, Георгий, сам того не осознавая, дал матери роковой “наказ”, заговорив о возможности жизни в разных городах, о возможности *разлуки*, которой с 1920 года Цветаева “стала безумно бояться”, ибо “чуть что — и тот старый леденящий ужас: а вдруг?”. Вспомним: еще в 1923-м она знала и “ненормальность” такой своей реакции, и ее “*корень*”, но ничего с собой поделать не могла. Что уж говорить о 1941 годе, когда все обстоятельства (и места, и времени) настойчиво возвращали ее к пережитому когда-то ужасу. Вспомним и то, как молилась она тогда о смерти — “раньше Сережи и Али”, и попробуем представить, насколько для нее вожделенна была сейчас смерть — раньше Георгия. А призрак *его* смерти, замаячивший в ее сознании с первых же дней войны, вытолкнувший ее из Москвы, почти материализовался, когда сопровождением к теме разлуки стало еще и слово “интернат”.

Чистопольский интернат — Кунцевский приют. Кунцев-ский приют, поманивший (заманивший) обеспеченным питанием для детей и обернувшийся голодной смертью дочери. Чистопольский интернат, манящий Георгия продолжением учебы и опять же гарантированным пропитанием... Могла ли миновать Цветаеву такая ассоциация? Убеждена, что не могла. А значит, перспектива интерната была для нее абсолютно исключена.

Но реальной альтернативой интернату — *временной*, но такой страшной разлуке, один раз уже соблазнившей и так жестоко обманувшей перспективе, — мог стать либо ее достаточный на двоих заработок, либо... И для этого второго “либо” тоже нашлась подсказка в прошлом. В прошлом, к которому она неостановимо возвращалась мыслью, всем своим существом. И еще одним свидетельством тому — воспоминания Н. Молчанок, которая встретилась с Цветаевой в Елабуге и рассказывала позже, что между ними произошел такой примерно разговор:

“ — Он вот (Мур. — *Т.Г.*) хочет вернуться в Москву, это мой родной город, но сейчас я его ненавижу... Вы счастливая, у вас есть мама. Берегите ее. А я совсем одна...

— Но как же, ведь у вас сын? <…>

— Это совсем другое <…> Важно, чтоб рядом был кто-то старше вас — или тот, с кем вы вместе росли, с кем связывают общие воспоминания. Когда теряешь таких людей, уже некому сказать: “А помнишь?..” Это все равно что утратить свое прошлое — еще страшнее, чем умереть”16 .

И вернувшийся опять, в самые последние дни ее жизни, мотив ненависти к Москве, и обостренное чувство своего одиночества, своего *сиротства*, перед которым бледнеет даже страх смерти, и вновь возникшая потребность *в старшем*, с которым, кстати, можно разделить не только воспоминания, но и ответственность момента, говорят о психологической погруженности в волны прошлого, не утраченного, напротив, обжигающего, стремительно приблизившегося прошлого, где бедствовала (без бабушек и дедушек, без матери и отца, без мужа и брата) с двумя маленькими дочерьми, одну из которых в том прошлом и оставила.

Может, была тогда неиспользованная какая-то возможность? Чту было тогда в ее воле и чту по ее воле тогда не состоялось? Ответ мог быть только один (ибо все остальное произошло так или иначе *невольно*): она отказалась тогда отдать Ирину Елизавете Эфрон в дочери *навсегда*, а спустя год *временно* отдала девочку в приют и тем самым невольно обрекла ее на голодную смерть. Сама Цветаева никогда не писала о первопричине своего разрыва с Е. Эфрон, только резюмировала, несколько варьируя в словах, но неизменным оставляя свое восприятие случившегося, — “дали Ирине умереть с голоду в приюте под предлогом ненависти ко мне” (НСИП, 286). То есть точкой отсчета брала зиму 1919–1920 годов, а не лето-осень 1918-го. Сейчас, надо думать, заглянула в поисках альтернативы устрашающему интернату в те летне-осенние месяцы, о событиях которых рассказывает сохранившееся письмо Е. Эфрон, написанное в 1923 году брату в Чехию. Привожу отрывок из него, выделяя наиболее значимые, на мой взгляд, фрагменты:

“Ты знаешь вероятно что одно лето Ирина провела у меня, первое лето коммунизма 1918 г. Я жила у Анны Григ[орьевны], морально было ужасно, я накупила провианта на все деньги кот[орые] у меня были (мамин залог). И Анна очень скоро сказала что все запасы истощились и выживала меня <…> Я собрала все свое самообладание и молча выносила оскорбления, только чтобы не возвращать Ирину. *Она стала как бы моей дочкой.*

Это была умная, кроткая, нежная девочка. Привезла я ее совсем больной слабой, она все время спала, не могла стоять на ногах. За три месяца она стала неузнаваемой, говорила, бегала. Тиха она была необыкновенно, *я все лето ничего не могла делать, даже читать, я упивалась ее присутствием, ее жизнью, ее развитием.*

Моей мечтой было *взять ее насовсем и растить*.

Мне предложили место сельской учительницы, я написала Марине об этом и спрашивала не даст ли она мне девочку и на зиму. *Уезжать в глушь одной я была не в силах*. *Ирина же заполнила бы всю мою жизнь*.

<…> Подошла осень. Я ждала ответа от Марины, отдаст ли она мне Ирину на зиму. Вместо ответа приехала Марина и взяла у меня Ирину <...> *Тогда я решила, что больше никогда Ирину брать не буду, что мне это не по силам*. *Вот в этом верно и была моя самая большая ошибка, что я себя хотела защитить от боли*” (там же, 511).

Итак, Е. Эфрон предлагала практически удочерить Ирину, а вину свою видела в том, что, получив отказ, отстранилась, щадя свои чувства, от временной помощи. А если бы Цветаева согласилась тогда отдать дочь в более заботливые, умелые руки? Может, не возникла бы необходимость приюта? Может, девочка осталась бы в живых? Если представить себе, что в августе 1941-го Цветаева пошла путем таких предположений, то неизбежным должен был стать вывод: она сама, одним своим присутствием *помешала* спасению дочери. Ни на одном из предыдущих этапов эта мысль, похоже, у Цветаевой не возникала. По крайней мере, ни в одной из разновременных записей ее следы не обнаруживаются. А вот сейчас к ней, к этой мысли, потянулась как будто тоненькая ниточка.

Ибо если так, если *это* был выход из того тупика, то сейчас остается, если работу не удастся найти, попробовать единственный, неиспробованный тогда, путь — самоустраниться. Правда, сейчас, когда она была окружена чужими людьми, когда никто ей не предлагал усыновить ее ребенка, по-родительски позаботиться о нем, это означало совсем другое...

Оставалась, однако, слабая надежда найти работу и остаться рядом с сыном. В Чистополь она ехала с этой надеждой, с “наказом” сына и с мыслью о другом, подсказанном давней трагедией, исходе. О нем она не только думала, но и говорила. Ж. Гаузнер вспоминает, что в Чистополе она все время повторяла: “Если меня не будет, они о Муре позаботятся. Должны позаботиться, не могут не позаботиться... Мур без меня будет пристроен”17 . Слова эти в контексте всего вышеизложенного недвусмысленно говорят о том, что уходила она из жизни во спасение сына, уходила, пытаясь уберечь его тем единственным способом, который отвергла когда-то в роковой ситуации 1918–1920 годов.

В Чистополе разрешился вопрос искомой прописки, но работы ей не дали, только *пообещали в будущем*. А будущего у нее, без работы и заработка, похоже, уже и не было. Тем не менее, вернувшись в Елабугу, готова была обсуждать с сыном оба варианта (и Чистополь, и Елабугу), склонилась было окончательно к первому, но тут забрезжила надежда на работу в совхозе в Елабуге, и она посчитала, что, если они будут работать *оба*, то денег на жизнь должно хватить. И поехала узнавать условия. О том, что произошло потом, с большой долей вероятности рассказывает последняя перед смертью матери запись в “Дневниках” Георгия, из которой явствует, что он решил любой ценой увильнуть от работы в совхозе и настаивать во что бы то ни стало на продолжении учебы.

Будем надеяться, что в свои 16 лет Георгий совсем не понимал, чего он добивается. Многого не только не понимал, но, вероятнее всего, и знать не мог. Но на самом деле он добился того, что Цветаева доподлинно поняла: *прокормить* сына она не сможет, тем более что и в совхозе ей отказали. Правда, до настоящего голода дело еще не дошло, какие-никакие деньги у них пока оставались, и в молодости она, вероятно, не побоялась бы пустить все на самотек. Впрочем, без всякого “бы” — действительно не побоялась. Но теперь она знала, к чему это может привести, и путь этот, естественно, рассматриваться не мог.

И тут пришло последнее решение, точнее, сработал ее “простой инстинкт: его — сохранения”. Вспомним, что она писала А. Тесковой в 1934 году: “Пока я *жива* — ему (Муру) должно быть *хорошо*, а хорошо — прежде всего — жив и здоров. Вот мое, по мне, самое разумное решение, и даже не решение — мой простой инстинкт: его — сохранения”. И вот теперь она поняла: *живая*, она уже не может обеспечить ему жизнь и здоровье. Но это может сделать ее отсутствие, ее смерть. В случае ее ухода возникала надежда и на школу для Мура, на школу, где занятия начинались на следующий день. Так к обоснованию ухода добавились и его сроки — 31 августа, самый канун начала учебного года. Отсюда же в одной из предсмертных записок возникает просьба к Николаю Асееву: забрать Мура в Чистополь, позаботиться о его учебе, “*просто* взять его в сыновья”.

По сути, Цветаева вернулась к недавнему “наказу” Мура. Но внесла в него резкие коррективы: не временная разлука, но разлука *вечная*, не интернат, а *усыновление*. Только они, по теперешнему убеждению все другие возможности перебравшей Цветаевой, могли спасти сына. Только своей смертью она могла, как ей казалось, сподвигнуть *чужих* людей на *усыновление* Георгия, только его круглое сиротство давало для этого хоть какое-то основание…

При пристальном внимании отзвук причин последнего решения Цветаевой можно найти и в одной из предсмертных ее записок — в записке, адресованной Георгию и через него — Ариадне и Сергею Эфрон. В ней мне видится глубокий подтекст. Думаю, что Цветаева, давно уже знавшая цену всему написанному ее рукой, еще в 1925 году нисколько не сомневавшаяся в том, что после ее смерти будет напечатана “каждая строчечка”, “каждая хвисточка”, понимала, как много людей — и теперь, и в будущем — прочтет ее предсмертные записки. И взвешивала каждое слово. Попробуем так же, взвешивая каждое слово и каждый речевой жест, прочесть одну из них. Вот она:

“Мурлыга! Прости меня. Но дальше было бы хуже. Я *тяжело-больная*, это — уже не я. Люблю тебя безумно. Пойми, что я больше не могла жить. Передай папе и Але — если увидишь — что я любила их до последней минуты и объясни, что *попала в**тупик*”.

Вспомним, что накануне произошел между ней и сыном нервный, напряженный разговор. Это засвидетельствовано и хозяйкой дома, где они жили, и — косвенно — последней августовской записью в дневнике Георгия, из которой с большой степенью вероятности можно вывести тему их спора (не работа в совхозе, а школа). Записка полностью игнорирует эту тему, на все грядущие времена заслоняя сына даже от тени обвинений в смерти матери. И тут может прочитываться не только забота о нем, о спокойствии его совести и души, но и доподлинная правда: нет его вины в том, что она видит путь к его спасению только через свой уход. Такая же истинная правда в словах о безумной любви к сыну, с рождением которого выправились в ней какие-то “нарушенные законы” и она познала новое, по-новому полноценное, до той поры ей — матери двух дочерей — неведомое материнство.

Слова “я *тяжело-больная*”, к тому же выделенные, тоже прочитываются двояко: во-первых, как мотивация ухода и форма просьбы о прощении перед сыном, которого оставляет как будто на произвол судьбы; во-вторых, как намек на химеру страха и невыполненного в прошлом долга. Вспомним еще раз слова С. Эфрона о переживаниях жены, связанных с московской трагедией, — “тяжкая и страшная болезнь”, а также то, что медицинское освидетельствование показало: в момент смерти Цветаева была абсолютно здорова. Кроме слов о непонятной болезни в записке выделены слова, которые Георгий должен был передать (объяснить!) сестре и отцу: “*попала в тупик*”. Что может означать — не было другого выхода. Но может означить и — *другого* (прежнего) выхода и искать не стала, когда стало очевидно, что попала в *знакомый тупик*, из которого теперь остается только этот выход — само-увод. Возможно, Сергею Эфрону и “объяснять” ничего не пришлось бы, возможно, он и сам бы все в ее решении понял, а точнее — узнал? Узнал бы цветаевскую решимость ребенка своего (и особенно *этого*!), даже будучи “безоружной”, во что бы то ни стало *уберечь*.

Георгию так и не пришлось встретиться ни с отцом, ни с сестрой. Но он сумел сам, без их помощи, многое понять за оставшиеся годы своей короткой жизни. Понял ли, что мать пожертвовала ради его спасения и благополучия своей жизнью, сказать трудно. Может, и нет. Ведь она, сказавшая однажды: “Высшая жертва — скрыть, что это жертва”, — сделала все от нее зависящее, чтоб он об этом не догадался.

Но какая-то часть правды, несомненно, открылась ему за месяцы и годы одиноких скитаний. И в январе 1943-го в письме С. Гуревичу он так написал о последних днях и о смерти матери: “Я вспоминаю Марину Ивановну в дни эвакуации из Москвы, ее предсмертные дни в Татарии. Она совсем потеряла голову, совсем потеряла волю; она была одно страдание. Я тогда совсем не понимал ее и злился на нее за такое внезапное превращение... Но как я ее понимаю теперь! Теперь я могу легко проследить возникновение и развитие каждого ее слова, каждого поступка, включая и самоубийство. Она тоже не видела будущего и тяготилась настоящим, *и пойми, пойми, как давило ее прошлое, как гудело оно, как говорило!*” (Выделено мной. — *Т.Г.*) (НСИП, 79). Прерываю цитату на этом поразительном прозрении Георгия, которое с полным правом вынесено в название статьи, хотя вряд ли под “прошлым” он имел в виду именно воссозданную здесь семейную историю, вероятнее всего и не известную ему в таких деталях.

Когда долгий разговор возвращается к открывшим его словам, это верный признак того, что он подошел к концу. Так оно и есть в нашем случае, и мне осталось добавить только одно.

Стороннее осуждение, так или иначе сопровождавшее и больно ранившее Марину Цветаеву на всем протяжении ее жизни, не должно коснуться Георгия, как бы ни огорчали нас многие записи его “Дневников”, как бы ни соблазняла мысль обвинить его в душевной глухоте, в эгоизме, послуживших толчком к гибели Цветаевой. Не должны по многим причинам, из которых назову главную: этого не хотела его мать (хотела прямо противоположного: чтоб его пожалели и — в память о ней, во исполнение ее последней воли — помогли ему выжить в смертоносное военное время), знавшая причину, “*корень*” своего решения, уводящий в то далекое прошлое, когда Георгия на свете еще не было. И теперь, когда “Дневники” изданы и тем самым открыты для интерпретаций и обсуждения, об этом никак нельзя забывать. Тем более что, многое переоценив, обдумав и поняв, он винил себя сам, но записи свои сохранил, что требовало, согласимся, немалого мужества. Как когда-то винила себя в смерти дочери его мать, но тоже сохранила все свои записи. За что — низкий поклон и ей, и ему.

К тому же, и об этом тоже нельзя забывать даже в контексте нашего разговора, построенного вокруг одной сквозной темы в судьбе Цветаевой, ее последнему решению предшествовало и сопутствовало много других причин и обстоятельств. И сказанным здесь я вовсе не пытаюсь умалить их значение, но выделяю в сложном психологическом клубке предпосылок и мотивов очень важную, путеводную, нить (Ирина — Мур), никем как будто не замечаемую.

Стороннее осуждение, однако, не миновало, к великому сожалению, ни Мура, ни Ариадну Эфрон. Приведу один только пример. Много лет назад, в 1960-м, Анастасия Цветаева, побывав в Елабуге, проведя несколько дней в попытках отыскать могилу сестры, написала — на правах кровного, старшего родства — наставительно-ранящее, полное скрытых и явных укоров письмо своей племяннице Ариадне, где, в частности, говорилось: “Странная судьба мамы! Сына не помнят на кладбище; проявлял себя как чужой. Дочь никогда на могилу не поедет. Да, Марина была необычайна, но уж очень, слишком необыкновенны ее дети... Алечка!.. Не долгозвучат ли в тебе и теперь слова Марины: “Плохо ты прощаешься, Аля...”” (слова, сказанные Цветаевой в день ареста дочери). И еще о Муре: “Богом, за грех, взятый от жизни Георгий”.

Благодаря доброй воле Р. Вальбе у меня в руках оказались и это письмо, и ответное, очень трудно давшееся, трижды начатое и наконец завершенное письмо Ариадны Эфрон (от 7 ноября 1960 года), которая, конечно же, была знакома с дневниками Мура, но до конца своих дней сохранила щемящее, жгучее сочувствие к брату (так говорила мне Е. Коркина), равно как и вполне понятное желание дневники эти охранить до времени от посторонних глаз. Глубокая моя признательность Руфи Борисовне за то, что она предоставила мне возможность словом дочери — весомым, значительным, оберегающим память родных, — закончить этот трудный разговор:

“Почему мама в 49 лет не смогла больше *жить*...Мур виноват? *Как просто! Как просто* обвинить мальчишку, который не может оправдаться, — маминого любимого мальчика! которого она тбк знала в плохом и хорошем! — *Только* Мур! Будто и не было того, что отняло силы, — того, с чем был связан папин отъезд из Франции; ареста моего; ареста папиного; ареста одного за другим — друзей и товарищей, окружавших папу; выселения из Болшева, поисков жилья (“писательница с сыном ищет комнату” — безнадежное объявление в “Веч. Москве”) — отказа из Союза писателей <...> Поиски работы — (*как* работать, когда негде?!) <...> Передачи в тюрьмы — и на каждой квитанции писалось: Марина Цветаева, *писательница*! М.б. *на них* подействует! Война. Молниеносное наступление немцев. Паника в Москве <...> Эвакуация <...> С собой очень мало денег и никаких ценностей <...> Чистополь <...> Просьба о работе в качестве судомойки в писательском детском доме <...> Неужели, Ася, *Мур* виноват в *пределе* маминых сил? *Только* Мур? <...> Не говорите мне, чтобы “я вспомнила маму”, Ася. Я-то ее не только помню, я ее *знаю* все годы эмиграции, я жила при ней неразлучно все те годы, о которых Вы и представления не имеете. Маму, которую знала я, *Вы не знаете — вспомните* ***это!*** И не беритесь говорить мне от маминого имени...”.

И далее, ближе к концу этого большого письма:“Вот потому-то Вы и разлюбили меня, Ася, что подменили меня, живую, о которой Вы *ничего* не знаете и знать *не хотите,* — своей собственной схемой *дурной дочери*. Потому-то под Мура, живого, мамой любимого сына, под *Мура, которого* ***я знаю*** *с самого его рождения и до 37-го года* и которого Вы не знаете и знать *не хотите*,Вы подставляете ходули *дурного сына*, которого и Бог на фронте убил (вместе с целым полком других сыновей) — за грехи! Ох, Ася, не приписывайте Вы Богу собственных взглядов!”

Как важно сейчас, когда достоянием многих и многих стали изданные недавно “Записные книжки” и “Сводные тетради” Марины Цветаевой, “Дневники” Георгия Эфрона, другие драгоценные материалы, к которым, надеюсь, в скором времени добавятся полные тексты писем Цветаевой к Анне Тесковой, вся сохранившаяся переписка Ариадны Эфрон с Анастасией Цветаевой, — как важно, чтобы мы, помня эти слова дочери, обращались к извлекаемым из небытия текстам с желанием *знать живую, настоящую* Цветаеву, *живых, настоящих* ее близких и не позволяли бы подставлять ходули собственных домыслов и схем на место документально подтверж-денных фактов.

И в своих размышлениях о Марине Цветаевой руководствовались бы написанным ее рукой наказом: “Не судить — одно условье”.

*г. Ереван*

 1 МаринаЦветаева. Неизданное. Семья: история в письмах. М.: Эллис Лак, 1999. С. 54. Далее издание это будет сокращенно обозначаться НСИП и ссылки на него будут даваться в тексте — с указанием страницы.

 2 О нем, кстати, 25 апреля 1920 года в “Записных книжках” сделана следующая запись: “Н.Н. Если бы я познакомилась с Вами раньше, Ирина бы не умерла” (*Цветаева М.* Неизданное. Записные книжки в 2 тт. Т. II. М.: Эллис Лак, 2000–2001. С. 109. Далее это издание будет обозначаться НЗК и ссылки на него будут даваться в тексте с указанием римскими цифрами — тома, арабскими — страницы).

 3 *Цветаева М.* Собр. соч. в 7 тт. Т. VI. М.: Эллис Лак, 1994–1995. С. 153. Далее ссылки на это издание будут даваться в тексте с указанием римскими цифрами — тома, арабскими — страницы.

 4 Предначертанно (*франц*.).

 5 *Цветаева М.* Неизданное. Сводные тетради. М.: Эллис Лак, 1997. С. 345. Далее — НСТ. Ссылки в тексте с указанием страницы.

 6 В связи с этим — письмо Цветаевой к Е. Эфрон, датированное июлем 1918 года: “Если Вы все равно решили жить в деревне, я у Вас Ирину оставлю, если же живете исключительно из-за Ирины, я Ирину возьму. Жить на два дома сейчас невозможно, ибо потребности дня неограничены. Все, что я смогу сделать — платить за Иринино молоко, давать крупу и взять на себя половину того, что Вы платите за комнату. Подумайте, подходит ли это Вам, и ответьте через Мишу. Надо — необходимо — приучить Ирину к картофелю. Крупы мало и достать *нельзя*. За картофель буду платить отдельно. Я определенно не хочу, чтобы Вы на Ирину тратили хотя бы копейку, но если ее содержание будет мне не по силам, я ее возьму. Вот, милая Лиля, точно и определенно — положение моих дел. Не сердитесь и не упрекайте, у меня не только Ирина, а еще и Аля, а еще дрова, к[отор]ых нет, и ремонт, за к[отор]ый надо платить и т[ак] д[алее] — без конца. Целую Вас. Подумайте и ответьте. Посылаю крупу и 84 р. за Иринино молоко до 4-го августа старого стиля. Деньги за комнату — если Ирина у Вас останется — привезу в среду” (НСИП, 273).

 7 Потерянные глаза (*франц*.).

 8 Связь “Сказки матери” с событиями 1920 года, со смертью Ирины, отмечена биографами Цветаевой В. Швейцер и И. Кудровой. Кудрова так пишет об этом в книге “Путь комет: Жизнь Марины Цветаевой” (СПб.: Вита нова, 2002. С. 212): “В середине тридцатых годов она (Марина Цветаева. — *Т.Г.*) напишет прозаическую “Сказку матери” — о том, как разбойник заставлял одну бедную мать выбрать между двумя ее дочерьми — какой жить, какой умереть. Сказка была страшной, хотя в ней-то все кончалось благополучно. Но вряд ли случайно Марина обращалась памятью к этому сюжету. Он мучил ее даже спустя четверть века (14 лет. — *Т.Г.*) после случившегося”.

 9 Нас не должно смущать это “может быть” при наличии Али, ибо к ней у Цветаевой было нечто особое, что всей материнской любовью сама она не называла и говорила об этом в другой, правда, связи, но в то же примерно время: “Аля не в счет, ибо Аля и я — одно. Любовь — что-то отдельное от себя” (НЗК, II, 89).

 10 *Цветаева Марина*. Письма к Наталье Гайдукевич. М.: Русский путь, 2003. С. 75.

 11 Там же. С. 74.

 12 Там же. С. 126.

 13 См. статью: *Геворкян Т.* Мифы и легенды при свете фактов. К новым материалам о Марине Цветаевой // Вопросы литературы. 2006. № 5.

 14 *Эфрон Георгий*. Дневники в 2 тт. Т. I. М.: Вагриус, 2004. С. 526.

 15 Там же. С. 531.

 16 Цит. по: *Кудрова И.* Указ. соч. С. 701.

 17 *Громова Н.А.* “Дальний Чистополь на Каме...”. Писательская колония: Москва — Чистополь — Елабуга — Москва. М.; Елабуга: Дом-музей М. Цветаевой, 2005. С. 37.